

Мих. РОЦИН. — 1995. — 18 окт. — с. 6

“ВЫ ЖЕ последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!” — говорил Бунину Горький. В конце концов надо понять и признать, что в этом корень всей жизни писателя, всего, что произошло с ним лично. Он и писал всю жизнь лучше и лучше потому, что не мог оскорбить память своих учителей, осланившись перед ними дурным письмом. И жить не мог по-другому, чтобы не сблизиться с пути, раз избранного, изменить себе, своей школе. Он был верным рыцарем русской литературы и, возможно, потому даже облик имел всю жизнь рыцарский: сухой, подтянутый, четкий, даже в глубокой старости. Его много обвиняли в апатичности, пренебрежении общественными проблемами, но он просто был рыцарем своего ордена.

Поэзия и проза. Конечно, он свершил путь и жизнь поэта. Бог русской литературы — правда. Но что такое правда в искусстве? Это точность, верное наведение фокуса, точность и красота в изображении, воспроизведение и воссоздание действительности, жизни и человека. Проницательный ум Бунина, его знание жизни, опыт, свой взгляд на все и свое отношение ко всему, желание наилучшей выразительности, честолюбивое желание превосходства в своей работе над другими — вот составляющие его секрета, тайны его необычности и отличия. Естественно, что главным его врагом была всякая, любая ложь.

“Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем. Тургенев тоже был стихотворец. Для меня главное — это найти звук. Как только я его нашёл — все остальное дается само собой...” Думается, Бунин имеет в виду скорее не звук, а тон, настрой, камертон. Стоит увидеть его черновики: он может по десять раз, на десятке страниц писать, кажется, все одну и ту же начальную фразу рассказа, пока не остановится на той, которая единственно возможна и этот самый “звук” схватит и выражает. А за ней и в самом деле уже легко и достаточно быстро катится “остальное”. Тургенев вспоминается здесь не зря: зачатки лирической прозы Ивана Сергеевича подтолкнули к лирической, поэтической прозе Ивана Алексеевича (как, кстати, и позднего Антона Павловича).

У него была напряженная, трудная юность, время самопознания и самосоздания — казалось бы, внешних событий было немного, но для 14–15–16-летнего поэта все событие: ночная поездка по лесу, ландшафты, мечта о какой-то гувернантке, картинка стрижки бабами овец, уличные деревенские посиделки с гармонью и частушками или смерть и похороны родственника или смерть любимого в ту пору поэта Надсона, первый поцелуй и первая папироса, арест и возвращение брата Юлия, дружба с младшей сестрой Машей и ее подружками, пьянство отца или его же рассказы о том, как играл в карты с графом Толстым — отец воевал в Севастополе.

Бунин прошел всего четыре класса гимназии, весь курс гимназии преподавал ему старший брат Юлий, он был старше на 13 лет. Род Буниных старинный и знатный. К моменту рождения Ивана семья уже была разорившейся, отец, как водится у русских писателей, был беспутен, пил — правда, в своей книге жена Бунина, Вера Николаевна Муромцева, отметила: отец, Алексей Николаевич, живя в Воронеже, не пил, и Иван родился в трезвый период его жизни. Мать, Людмила Александровна, представляла собой иную стихию — женскую, лиричную и душевную. Мать первая говорила, что Вяня особенный, ни у кого нет такой тонкой души, как у него. И так же скажет потом жена, Вера Николаевна, что он не похож на всех. Он столь серьезно знает английский, что в 25 лет уже переводит, как известно, Лонгфелло, “Песню о Гайавате”, за что получает свою первую литературную (Пушкинскую) премию.

Бунинская изощренная наблюдательность начинается рано и остается навсегда, превращаясь со временем в изощренность, в ту именно бунинскую густоту прозы, поэзию прозы, о которой Чехов говорил, что она как двойной толчок, а Куприн кричал в сердцах: “Меня тошнит от твоей изощренности!”. Юноша Бунин мечтает быть не хуже Пушкина и Лермонтова, самолюбие и честолюбие его проявились удивительно рано, он как бы наперед знает свою судьбу, пусть в мечтах, но проводит свой славный путь, отчетливо сразу высоко ставит, как теперь говорится, планку для своего прожия. И все осуществлялось, между прочим, шло даже и поверх планки. Не шуткою было уже в 1900 году в горьковской “Жизни” напечатать сразу в одном номере поэму “Листопад” и “Антоновские яблоки” — один из первых шедевров бунинской прозы. Не шуткою была ранняя Пушкинская премия, избранная в академики. (Кстати, однажды парижский шофер такси, куда сели Бунин и его секретарь Седых, послушав две минуты разговор пассажиров, — Бунин всю жизнь употреблял, когда надо было к месту, крепкую лексику, — сказал: “Я угадал, господа, должно быть, мсье — офицер русского флота?” “Нет”, — отвечал Бунин, — “я почетный академик изящной словесности”, “А, изящной!” — только и оставалось сказать шоферу.) Не шуткою были ранние собрания сочинений, широкая известность среди русской эмиграции и полный откат от Бунина на родине, ставшей советской. И уж совсем не шуткою сделалась Нобелевская премия 1933 года, первая литературная Нобелевская, полученная русским писателем.

Родина и народ. Из книги Веры Николаевны Муромцевой о жизни Бунина, из “Жизни Арсеньева”, из различных воспоминаний и документов, явившихся на свет уже теперь, когда опомнившаяся от тоталитаризма Россия стала наконец подбирать свои разбросанные в разные времена и по разным странам богатства, признавать своими тех, что десятилетиями все ходил во врагах и изменниках, — из всех тех примечательных для биографии писателя вещей легко увидеть, как вырос мальчик и юноша Бунин в родительских деревенских поместьях, среди брата “мелкопоместных”, разорившихся, живших вплоть и почти ровнев со своими крестьянами, среди оловской, слесарской природы, полей и лесов, в большой семье, со множеством сородичей и соседней с чужаками-учителями, с пахотами и жатвами, ночными и охотами, сказками и преданиями, с ежедневными собы-

тиями и историями, в самой глущи родного языка, песен, преданий, молитв, праздников и похорон, — всегда на вольном воздухе, под сияющими или льющими дожди небесами, под звездами, в завале зимних снегов, с конюшнями и скотными дворами, лаем собак и соленьем капусты. “Так знать и любить природу, как умеет Бунин, — писал А. Блок, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко и красочные и слуховые его впечатления богаты”. Те же знание и любовь обнаруживаются в самых первых, даже газетных (когда работал в “Орловском вестнике” и писал туда что попало) заметках, очерках и первых рассказах Бунина о “простом” народе, мужиках-крестьянах, бабах, мелкопоместных помещиках. В русской литературе, за спиной Бунина, уже существовали Гоголь, Некрасов, “Записки охотника” (может быть, лучше, как написано о русском мужике!), писатель-народники с их умилением и страданием о народе — страдающем брате. Бунин и здесь видит и пишет по-своему. “В юности, читатель, меня очень интересовали дураки... Не улыбаясь, — право о них стоило подумать... Я с одинаковым удовольствием любилась и на старых, и на молодых, и на толстых кретинках, и на худых, долговязых идиотах. Мне нравилось наблюдать, как старый дурак постоянно гордится тем, что он женат и что он чистокровной породы; как он любит подарки, мятные пряники и произведения искусства — в часы досуга; как он всем дает понять, что он если и не блещет красотой теперь, то еще очень представительен. Нравилось мне, как гордился молодой дурак, говоря, что у него вся жизнь впереди, то есть, что он тоже будет женат и будет любить пряники

русских крестьян!” А вот когда миллионами гбли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал... И как надоела всему миру своими гнусостями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь — Русь!

Я нарочно поискал, а что же писал в 21-м году не “злой” обыватель Бунин, а мастер Бунина? И наткнулся на один из удивительных рассказов “Преображение”: как сын Гаврила читал ночью Псалтырь над умершей и лежащей в гробу матерью. Прощитую, читатель, извини: “...Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, — разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижное, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плюсом и белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что вчера еще ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преобразование — и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преобразенном мире...”

Вот каков, право, этот Иван Алексеевич! Как он умел всю жизнь и одно увидеть, и другое, с орлиной своей зоркостью

К 125-летию со дня рождения Ивана Алексеевича БУНИНА

потому и мы, читая его сегодня, так все видим и чувствуем: как он, с ним вместе!

ЛЮБОВЬ, ЖЕНЩИНА, ТРАГЕДИЯ. Бунин всегда много путешествовал, по Европе, по Ближнему Востоку и дальше, вплоть до Индии и Цейлона, его будоражили и возбуждали наркотически новые места, страны, пейзажи, пароходы, встречи, особенно женщины, солнечные удары мимолетной, внезапной и краткой, но оттого не менее сильной любви, действующей как инъекция. Над ним посмеивались, осуждали, слышном он был по тем временам открытвен, кто-то, Тэффи или Гиппиус, даже сострил, как надоел, мол, Бунин со своими вечными беремными гимназистками. В одном из лучших рассказов “Темных аллея”, в “Террихе”, Бунин отвечал на это так: “...как люблю я вот такие вагонные тоны, эту темноту в мотающемся вагоне, мотающемся за шпорой огни станции — и в вас, вас, “жизнь человеческая, сеть предельных человек!” Эта “сеть” нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня предупреждают в безстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: “Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных выражениях любви и лирике, как и в выражениях мучения, связанные с именем Варвары Пашенко — первая, можно сказать, свхвачена с женщиной всерьез, жгучая, плотская, высокая любовь, в конце по сути обманувшая и разочаровавшая его. (Варя ушла и вышла замуж за друга, Арсика Бибикова.) Возможно, этот след, рубец был всю жизнь. Вот запись из дневника 41-го года, много, много лет спустя: “Да, это уже весна. И сердце вдруг сжалось, — молодо, нежно и грустно, — вспоминаешь почему-то время моей любви несчастной, обманутой — и все-таки в ту пору правдивой: все-таки в ту пору было в ней, тогдашней, удивительная прелесть, очарование, тро-

романом-воспоминанием о бо всей своей жизни. Всем известна пятая часть этого романа с отдельным ее названием “Лирика”. Это, возможно, самое полное и сильное, что вообще сказал Иван Алексеевич Бунин о любви, о женщине, о трагических несоответствиях между мужичиной и женщиной при всей их тяге друг к другу и, казалось бы, счастье соединения.

Вспоминая, сочиняя, придумывая, как он говорит, Бунин все свои последние десятилетия, старая, более, тоскуя по России, с болью переживая идущую где-то под Москвой, то под Царицыном войну, словно отодвигает работой от себя и старости, и тоску, и смерть. Он все еще жив, все еще пылко и страстно волнуется обо всем. Вера Николаевна записывает, например, 29 августа 44-го года: “Ян сказал: “Все же, если бы немцы взяли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, да самые лучшие условия, — я от-казался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерплю!”

В “Лирике” воссоздан первый серьезный роман Бунина, его любовь, женитба, все его мучения, связанные с именем Варвары Пашенко — первая, можно сказать, свхвачена с женщиной всерьез, жгучая, плотская, высокая любовь, в конце по сути обманувшая и разочаровавшая его. (Варя ушла и вышла замуж за друга, Арсика Бибикова.) Возможно, этот след, рубец был всю жизнь. Вот запись из дневника 41-го года, много, много лет спустя: “Да, это уже весна. И сердце вдруг сжалось, — молодо, нежно и грустно, — вспоминаешь почему-то время моей любви несчастной, обманутой — и все-таки в ту пору правдивой: все-таки в ту пору было в ней, тогдашней, удивительная прелесть, очарование, тро-

А вот еще одна любопытная запись — из “Грасского дневника” Галины Кузнецовой, молодой поэтессы и прозаика, ученицы Бунина (с нею был у него роман, но при этом он был так смел, что предложил ей жить в его доме несколько лет): “21 февраля (31 г.). Вечером И.А. читал мне вслух “Косцов” и “Аглаю”. Последнюю читал особенно хорошо, и когда кончил, у меня лицо было мокро от слез. Как прекрасно написана эта вещь! И как он замечательно читал ее! На мой вопрос он сказал, что много прочел, прежде чем писать ее. — “Вот, видите, у меня только того, кто написал “Деревню!” — говорил, жалуся, он — А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во мне есть и то и это! А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов, и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый плакат, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглая, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белая, тихая, длиннорукая, — это уже рождение. А перечисление русских святых! А это, что бабам встречался, как выдумал! В котелке и с завязанными глазами! Ведь бес! Слишком много видел... И вот никто этого не понял! Оттого, что “Деревня” — роман, все завопили! А в “Аглае” прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что душа неслась, выполняла, — никем не понято, не оценено по-настоящему...”

“Всякий настоящий писатель, — говорил Бунин, — конечно, может сказать о себе кое-что не хуже других, ибо непременно должен быть хорошим критиком: ведь его работа каждую минуту требует строжайшей самокритики, ума, вкуса, меры, такта, тончайшего чувствования каждого слова”.

Б УНИН продолжал работать, писать, читать, править, думать и учиться, — да, как ни странно, учиться писать (Бальзак сказал: “Ремесло писателя в том, чтобы научиться писать”) до самых последних, трудных, уже в слабости и болезни, дней упадка сил и депрессий и приходил к выводу: “Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И, — приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания... я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте, — говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник”.

Лучше трудно сказать!.. Семьдесят лет работал Иван Алексеевич в русской литературе, возложил на нее всю жизнь, полную и необычайной сложности по всем направлениям, взаимотношениям и несомненным, какие только может познать жизнь, — осуществил, исполнил свою судьбу, сберег, не уроня, свой Божий дар, небесный огонь, данный ему от роду. Расставшись с родной землей, никогда не потеряв ее, не изменив ей, не предав ни в чем, остался сыном России и ее народа, обрел по заслугам звание Великого сына России, стал плечо в плечо со всеми, начиная с Пушкина, коих перечисляют буквари и хрестоматии.

Кто-то, не помню, сказал, что Чехов лишь потому был у нас разрешен, в отличие от Достоевского и Бунина, что его не прочли до конца и не поняли. Бунина, наконец, разрешили, хотя тоже, конечно, до конца не поняли и не прочитали. Уж как было бы хорошо к нынешнему юбилею (или пусть к любому будущему) озаботиться хотя бы, вместо издания вышеупомянувшейся “Катастрофы”, с о-сударственным решением об издании полного собрания сочинений Ивана Алексеевича. Ведь у нас до сих пор его так и нет. Полного, настоящего, академического, как положено русскому классику, великому писателю. Или пусть в Швеции издадут, в Израиле, в Америке? Мы ведь, как всегда, опаздываем с ячком ко Христову дню.

Тем и отметим юбилей: чего нет.

Мих. РОЦИН Наука помнит

и прибавит народонаселения... Но потом — это-то еще бы ничего! — потом я встретил такую разновидность этой милой породы, что крепко задумался. Я встретил “злого” дурака! О, читатель, бойся злого дурака! Злой дурак не чета другим. Злой дурак гордится не тем, что он женат, а тем, что он — гений. Он видит, что кругом него рукава жуят, а он не жует и понимает, что он среди других — гений. Думают так же и многие посторонние. Да и в самом деле! — посмотри, какой иронией светятся свиные глазки этого гения под напывшимся лбом”.

Резок, сердит в данном случае молодой автор — что ж, это с ним бывало, позже и порезче, и покруче умел он сказать. Но смладу питавшие его родные Каменка, Озерки, Бутырки, Васильевское — среднерусские села, усадьбы, окружавшие их уголья, насылавший их народ, — они, а не что иное были пищей зрения, слуха, души молодого поэта, и им обязаны мы и русская литература замечательными бунинскими шедеврами, вроде “Руси”, “Танки”, “Ловчего” и многих других. “На край света” — первый бунинский сборник рассказов — уже был наполнен этой природой, этими типажками.

Бунин знал не идеализированный, романтизированный, приукрашенный из разных причин и чих-то выгод русский народ, а подлинный, полный всеми достоинствами и столь же разнообразными малоприятными чертами. Но правда — Бог велит: даже художественно преобразованный мужик есть во всем смаке и мощи мужик: богатырь и дикарь, хозяин и раб, человек и полуживотное. Как ни странно, Иван Алексеевич всегда внутренне полемичен, с чем-то (редко с кем-то) борется и полон скрытого, сконцентрированного пафоса. Изредка прорывается наружу, как, например, в 1915 году: “...литература наша извращалась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянх теперь ныннешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: “Так что, ваше благородие”, говорить с народом не умеет, изобразительная сушальня Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывавший утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются”. Фальшь, проклятая фальшь — первый враг Бунина. Это пишет уже автор “Деревни”, произведения бомбы взрывающего в обществе, мощного по смыслу и воплощению, сказавшего ту гору правду о Руси, на которую никто не решался. Прорвалось далеко не “вдруг” — о вековой отсталости, косности и дикости, о загубленности жизни и судеб, о вине некого-то, социальной и классовая, а самих людей — обладателей и носителей конкретных характеров, исконно, исторически, генетически русских, со всеми их качествами и пороками, свитыми воедино. Здесь он шел в ногу со зрелым мудрым Чеховым, автором “Моей жизни”, “Мужиков”, “В овраге”, уже драматургом Чеховым.

Еще более жесткие и жестокие вещи сказал писатель о родимом народе, когда тот втянулся и разгулялся вовсю в годы революции: Бунин стал автором одной из самых беспощадных русских книг — “Окаянных дней”. За что и был, как известно, навсегда отлучен от советского читателя. Горького за “Несвоевременные мысли”, книгу, тоже не самую по шерстке глядящую власти и революционный народ, вроде бы простили, прижали ко груди ленинско-сталинской, а Бунина — нет, никогда, до самой его смерти.

Саме бы! Приведу одну малоизвестную запись из дневника Бунина 6 августа (н.с.) 21-го года: “В газетах все то же. “На помощь!” Призывы к миру “Сластьи миллионы наших братьев, гибнущих от голода



и мудростью змия позволить себе говорить тогда и то, что хочется и проноситься.

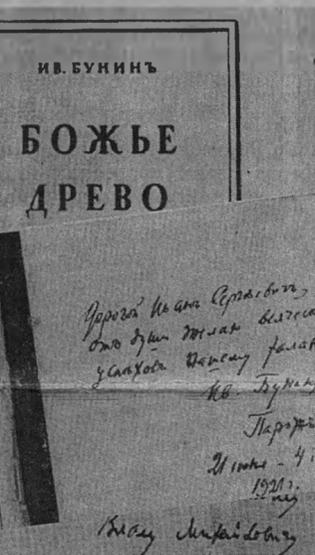
Помните, чеховское по каплям выдавливание из себя раба? Кажется, Бунин подобной работы никогда не прodelывал: он был свободен, да и все. Скорее, если уж сравнивать с чеховским глубоким демократизмом, Бунин тяготел более к аристократизму и свободе Льва Николаевича Толстого, самого любимого им писателя, главного, пожалуй, своего учителя. (Не зря же позже написана и одна из лучших бунинских книг “Освобождение Толстого”.)

Не стоит пересказывать известное: как покинул в 20-м году Бунин вместе с женой Россию, как жил в Париже, в эмиграции, как бедствовал, а потом, в войну, живя в Грассе в Провансе, просто голодал, болел, холодал, как все годы на чужбине со всем своею страстностью и упорством мечтал о Руси, писал только о ней, втыкал в большую карту СССР флажки, отмечая линию фронта, как делали это все люди на родине. Старость и смерть постепенно заняли мозг, прежде воспаленный лишь жизнью, воспоминаниями любви, молодости, женщины. В самые тяжелые свои годы Иван Алексеевич, остропомысливая нано, сочинил и выпустил один из самых волшебных книг на свете, таинственную и глубокую, как “Тысяча и одна ночь”, — свои божественные “Темные аллеи”.

Из его дневника: “20. IX.42. “Натали” И опять, опять, опять: никто не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рассказах, и прежних и теперешних. Да и сам не себя дивлюсь — как все это выдумалось, ну, хоть в “Натали”. И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать”.

И далее, кстати: “22.IX.42. Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют — в моей памяти. Когда умру — им полный конец... Все живее становится для меня мое прошлое. Вот вспомнил Птб. времени моего пребывания там в декабре 1896 г., Ольхину и т.д. — Боже, как все вижу, чувствую!.. Радио — кошмар. Не жлет только, который час”.

Вот это “Боже, как все вижу, чувствую!” и есть Иван Алексеевич Бунин. Лишь



Конечно, и здесь сказывались уроки и принципы великих русских писателей, никто не позволял себе вульгарных или открыто эротических описаний любовного акта или чего-либо близкого к этому. (Толстой, например, в “Карениной” в сцене грехопадения Анны не позволил себе никакой подробности открытой.) Но Бунин писал по-новому, по-своему, он и здесь хотел полной правды, а не привычного штампа или фальши. Бунин остается благородным и аристократичен во всех своих откровениях. Более того, каждая его любовная история сколь красива, столь же и трагична. Это чувство смертности любви (“полубив, мы умираем”) явилось давно, еще с прекрасной, почти юношеской “Митингой любви”, в “Темных аллеях” же почти каждый рассказ обрывается смертью, вспыхивающая озавет влюбленных как бы ступаюшими вверх на эшафот, где палач — Смерть уже ждет их. Почему? За что? Бог весть.

Все годы на чужбине Бунин упорно и трудно работал над “Жизнью Арсеньева”, гательностью, чистота, горячность... Впрочем, все это плохо говорю”.

“То дивное, несказанно-прекрасное, нечто совершенно особенное во всем земном, что есть тело женщины, никогда не написано никем. Да и не только тело. Надо, надо попытаться. Пытался — выходит гадость, пошлость. Надо найти другие слова” (там же).

Иван Алексеевич искал и, как мы знаем, находил эти иные слова. Нашел. Много. “Тенриха” перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, так уладо, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил. Одно осталось — помоги и спаси, Господи” (11.XI.40). Замечу, что в этом ноябре — октябрье написаны почти все “Темные аллеи”, почти сразу.

Сегодня, когда литература не гнушается прямой прозографией, хочется прикнуть к старомодному, может быть, Бунину и закрячить: да что ж вы делаете, люди, зачем уж так-то?

* Не могу не сказать попутно о том, как пользуются наследием И.А.Бунина потомки: в этом году прямо-таки прогремела “Катастрофа” Вал.Лаврова, роман якобы о Бунине, трагедия его жизни, сложенной революцией, о всей самодержавной, православной, святой Руси, погубленной большевиками во главе с Лениным, Троцким и всеми прочими еврейми, которые, по автору, во всем главном образом и виноваты. Лишь прикрывшись Буниным, говоря о нем либо без того хорошо известное, либо в основном чужое (по книге В.Н.Муромцевой и другим), автор в целом публицистическом запале кистит Троцкого и К., сбиваясь на откровенный злобный антисемитизм, самым примитивным образом расценивая и причины, и истоки, и последствия русской революции. У Бунина есть не очень лестные слова в адрес евреев, конкретные и жесткие, но, во-первых, никогда не носили они обобщенного, националистического характера (никогда бы он себе этого не позволил при своем благородстве), а во-вторых, если бы так, это еще не повод делать из И.А. ширму для явно унко-группового, политизированного и лутаного сочинения. В “Окаянных днях” все сказано, книга говорит сама за себя и не требует подобного “Катастрофе” дописка. Уж не говорю о том, как сей дописка написан, — вот бы чем озаботился автору, ползая в тени великана!